

Князь Серебряный

Автор:

Алексей Толстой

Князь Серебряный

Алексей Константинович Толстой

Классика в школе (Эксмо)Список школьной литературы 7-8 класс

«Путешествие на долгие было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей: во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, “чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился”...»

Алексей Константинович Толстой

Князь Серебряный

Путешествие на долгие было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и

останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей: во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился». Обо всем этом говорил Гоголь у А. О. Смирновой, в присутствии гр. А. К. Толстого (известного поэта), который был знаком с ним издавна, но потом не видал его лет шесть или более. Он нашел в Гоголе большую перемену. Прежде Гоголь в беседе с близкими знакомыми выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и все, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что «с словом надобно обращаться честно», или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: «Слушайте, не пророните ни одного слова». Тем не менее беседа его была исполнена души и эстетического чувства. Он попотчевал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался как редкими самородными перлами: 1) «Ой, спы, дытя, без сповыття» и т. д., 2) «Ой, ходыть сон по улоньци» и т. д. Вслед за тем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта: он продекламировал с свойственным ему искусством великорусскую песню, выражая голосом и мимикой патриархальную величавость русского характера, которою исполнена эта песня: «Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому» и т. д.[1 - Эту песню А. К. Толстой приводит в главе 5 «Князя Серебряного».]...

Гр. А. К. Толстой по записи Кулиша.

Записки о жизни Гоголя, II, 232.

At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes.

Tacitus. Annales. Liber XVI[2 - А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не

ненавидеть людей, так равнодушно погибающих. Тацит. Летопись. Книга 16 (лат.).]

Предисловие

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

1862

ГЛАВА 1. Опричники

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или по нынешнему счислению 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, вывели от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал dokonчальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести; а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка – беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всю землю. Казалось, с его праведным царством настал на Руси новый

золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточной бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.

– Эхва! – сказал он весело, – вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятину, справляют Аграфену Купальницу-то! Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

– Да, я чай, уже не далеко до Москвы! – сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

– Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрашал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

– Ну добро, – сказал князь, – отдыхайте!

– Эй, вы! – закричал Михеич, обращаясь к ратникам, – долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешили и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

– Не чинитесь, добрые люди, – сказал ласково Никита Романович, – кречет соколам не помеха!

– Спасибо, боярин, – отвечал пожилой крестьянин. – Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры – продолжал он, обращаясь к девкам, – чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

– Какая опричина? Что за опричники? – спросил князь.

– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул.

– Царь указал обижать народ! Ах они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

– Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

– Как, на царской дороге, под самою Москвой, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

– Да, – подтвердил мужик, – мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

– Дурень! – вскричал князь, – не смей станичников царскими людьми величать! «Ума не приложу, – подумал он. – Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

– Государь мой, тестюшка, – пел жених вместе с хором, – упари мне пива!

– Государыня теща, напеки пирогов!

– Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

– Пошел, тесть, к черту!

– Пошла, теща, к черту!

– Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня. Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

– Спасите! спрячьте! – кричал он, хватаясь за полы мужиков.

– Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страху едва мог говорить.

– Там, там, – произнес он дрожащим голосом, – за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни.

– Беда, беда! – кричали они, – опричники! бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

– Гойда! Гойда! – кричал он, – колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

– Батюшка! Боярин! – вопили те, которые были ближе к князю, – не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!

Но князя уже не было между ними.

– Где ж боярин? – спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. – И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

– Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

– На березу его! – закричал черный. – Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и накиннули мужику петлю на шею.

– Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

– Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполовину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

– Кто ты, мошенник? – спросил князь.

– А ты кто? – отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

– Отвечай, окаянный, или застрелю как собаку!

– Я тебе не слуга, разбойник, – отвечал черный, не показывая боязни, – а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистоли щелкнул, но кремьнь осекся, и черньй остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

– Скрутите и этого! – сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! – подумал князь. – Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

– Смотри, батюшка, – сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, – вишь, они какие ослы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

– Это что за люди? – спросил князь. – Зачем вы их к седлам прикрутили?

– Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

– Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободою, остались посмотреть, что будет с побежденными.

– Слушайте, мошенники, – сказал князь связанным опричникам, – говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

– Что, у тебя глаза лопнули, что ли? – отвечал один из них. – Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

– Окаянные! – вскричал Серебряный, – коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

– Да ты, видно, с неба свалился, – сказал с усмешкой черный детина, – что никогда опричников не видал? И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

– Слушай, молодец, – сказал он, – твоя дерзость мне было пришлась по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

– Я Матвей Хомяк! – отвечал он, – стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова – что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

– Дозволь, боярин, слово молвить.

– Говори!

– Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин.

Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

– Ты кто, молодец? – спросил Серебряный, – и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

– Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа с злодеями немного принесет пользы, тогда как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

– Власть твоя посылать этих собак к губному старосте, – сказал незнакомец, – только поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал всё молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

– Батюшка боярин, – сказал он, – оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозвожь, по крайности, перед отправкой-то, на всяк случай, вклепить им по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкурятина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезти пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

– Это самое питательное дело!.. – сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю. – Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой – и памятно для них будет!

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

– Боярин, – сказал он, – уж коли ты хочешь ехать с одним только стремянным, то дозвожь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и, после краткого отдыха, все четверо пустились в путь.

ГЛАВА 2. Новые товарищи

Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделивались разными изворотами.

– Тьфу, тетка их подкурятина! – сказал наконец сам про себя Михеич, – что за народ! Слово выюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

– Боярин, – сказал он, – хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

– А хоть и лихие, – отвечал беззаботно князь, – всё же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники!

– А провал их знает, постоят ли, батюшка! Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фыркание.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью, среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразили нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пищалей. «Прости, князь, говорил ему украдкой этот голос, я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песни говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами вздымались и опускались, и наконец, взлетев высоко, высоко, царили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песни

среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Сопротивление стало невозможно.

– Ах мошенники! – вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди, – ах тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

– Кто едет? – спросил грубый голос.

– Бабушкино веретено! – отвечал младший из новых товарищей князя.

– В дедушкином лапте! – сказал грубый голос.

– Откуда бог несет, земляки?

– Не тряс яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожаю! – продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

– Вишь, боярин, – сказал незнакомец, равняясь с князем, – ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не боле, а там скоро и Москва!

– Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

– Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе верные холопи!

– Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

– У меня имя не одно, – отвечал младший из незнакомцев. – Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

– Ах ты, мой кормилец! – сказал он Перстню, – не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

– И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, боже сохрани, какой сердитый!

– А камора за ставом? – сказал Перстень.

– Вся завалена мешками!

– А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь!

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

– А скажите, молодцы, – спросил Михеич, – где ж отыскать вас, если б, неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

– Спроси у ветра, – отвечал Перстень, – откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена стрела, там и дом ее! В свидетели, – продолжал он, усмехаясь, – мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

– Вишь ты, тетка твоя подкурятина! – проворчал себе под нос Михеич, – какие кудрявые речи выговаривает!

– Боярин, – сказал Перстень, удаляясь, – послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его как сидорову козу!

– Вишь, что наладил, – проворчал опять Михеич, – отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, – прибавил он громко, – наш князь никого не боится; наплевать ему на твоего Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета; морщины во всех направлениях пересекали лицо его.

Поевши и помолившись богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

– Боярин, – сказал Михеич, когда они остались одни, – сдаётся мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

– Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?

– Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть.

– Да что тебе здесь худо, что ли?

– Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник.

– Что ж с того, что он мельник?

– Как что, что мельник? – сказал с жаром Михеич. – Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да, черта с два! Тетка его подкурятина!

– Слыхал я про это, – сказал князь, – мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помолчал и спросил уже заспанным голосом:

– А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

– Я думаю, разбойник.

– И я тоже думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

– Я думаю, тоже разбойник.

– И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

ГЛАВА 3. Колдовство

Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

– Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

– Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

– Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

– Я те дам сундук запирасть, чертова кочерга! – закричал тот, которого мельник назвал князем. – Разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

– Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, всё испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

– Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдуманно, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

– Батюшка, умиلسердись! что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу; что после случится, в том один бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

– Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

– Что ж, князь, – сказал мельник, – выучил ты слова?

– И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

– Что ж, боярин, и это не помогает?

– Нет, – отвечал с досадой князь, – ничего не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

– Не прогневись, боярин, не руби невинной головы, а дозвожь тебе слово молвить.

– Говори, старик.

– Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

– Говори! – закричал князь и топнул ногой.

– Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

– Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

– А если... – продолжал мельник, запинаясь, – если она любит не мужа?...

– Ах ты леший! – вскричал князь, – да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

– Колдун, – продолжал князь, смягчая свой голос, – помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалуется царь за молодечество, проклиняет народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я

душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может известить меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

– Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

– Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом, растет. Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

– Меня уж и так боятся, – сказал он, – не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

– Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

– А боле нет других?

– Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

– А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замялся.

– Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю!

– А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

– И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава; когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски!

– Пропадай ты с своими травами! – сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

– Старик! – вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, – подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

– Сжался надо мной! – зарыдал он, – излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

– Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

– Не встану, пока не излечишь!

– Князь! князь! – сказал дрожащим голосом мельник, – пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

– Начинай, – сказал он, – я готов.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освещенное месяцем, продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой в гущине леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

– Смотри, князь, под колесо, а я стану нашептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо. Прошло несколько минут.

– Что видишь, князь?

– Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы играют.

– Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

– Смотри еще, князь, что видишь?

– Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

– Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще, говори, что видишь?

– Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

– Что это значит, старик?

– Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

– Вот потянулись багровые нитки, словно жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

– Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

– Постой, – сказал Вяземский, отталкивая мельника, – вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

– Постой, старик, мне дурно, мне больно в суставах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение.

Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

– Хочу знать, любит ли она другого!

– А есть ли у тебя, боярин, какая вещь от нее?

– Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

– Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

– Хлебни! – сказал он, подавая сулею князю.

Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилось.

– Смотри теперь, что видишь?

– Ее, ее.

– Одною?

– Нет, не одну! Их двое: с ней русский молодец в кармазинном кафтане, только лица его не видно. Постой! Вот они сплываются... все ближе, ближе... Анафема! они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!

Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдаленье, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь и вертеться.

ГЛАВА 4. Дружина Андреевич и его жена

Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею частью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались отдельными городами.

Надо всею этою путаницей церковей, домов, рощ и монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле не виданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили православные украшать дома божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами.

Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-реки, отличался особенною красотою. Дубовые бревна были на подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой – пространный сад, окруженный дубовым частоколом, из-за которого подымались красивые качели также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!

Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь окольного Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а красота девушки, при нечестивых нравах новых царских любимцев, бывала ей чаще на беду, чем на радость.

Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин Дружина Андреевич!

Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней, и в церквах становился супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, только как ни бился князь Вяземский, а все получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свах к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою в церковь, стала на колени перед божьею матерью, плачет и кладет земные поклоны.

В церкви народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоял боярин Морозов в бархатном зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.

– О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? – спросил Морозов.

Узнав боярина, Елена обрадовалась.

Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли; одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боярина; схоронила себе на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопрос Морозова, она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о том, что приедут царские свахи, приневолят меня за Вяземского!

– Елена Дмитриевна, – сказал боярин, – полно, вправду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девичье – воск: стерпится, слюбится?

– Никогда, – отвечала Елена, – никогда не полюблю его. Скорей сойду в могилу!

Боярин посмотрел на нее с участием.

– Елена Дмитриевна, – сказал он, помолчав, – есть средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты выйти за меня, старика?

– Согласна! – вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги. Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он восторгу Елены, не догадался, старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый.

Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.

– Дитяtko, – сказал он, – целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь, пред спасителем!

– Клянусь, клянусь! – прошептала Елена.

Боярин велел позвать священника, и вскоре совершился обряд обручения; когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она целовала крест быть ему верною и твердо решила сдержать свою клятву, не погрешить против господина своего ни словом, ни мыслию.

И зачем бы не любить ей Дружины Андреевича? Правда, не молод был боярин; но господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил господь Дружину Андреевича: не благословил его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина; велел позвать его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана.

Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола: неуместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком.

И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозову отойти от очей своих и отпустить седые волосы, доколе не сыметя с него опала. И удалился от двора боярин; и ходит он теперь в смирной одежде, с бородою нечесаною, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но не опозорил он своего роду, не сел ниже Годунова!

Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою; всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену, Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро, и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие.

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди приветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы перед иконами внезапно представлялся воображению ее молодой витязь, летящий на коне с поднятым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки?

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!...»

Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двадцать четвертого, в день Ивана Купалы все колокола московские раскачались с самого утра и звонили без умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, украшенные лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было бы встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил бога, гуляя по улицам, ибо бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную пору; а грешно идти против воли божией, разве

уж принудит неотложное дело.

Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе, или кабаке слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники, почти все молодые, в богатых нарядах. Они расположились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были пьяны; иной, лежа на голой земле, проливал на платье чарку вина, другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные звуки. Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова.

В это время два всадника показались на улице. Один из них, в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под которой вились густые русые кудри, обратился к другому всаднику.

– Михеич, – сказал он, – видишь ты этих пьяных людей?

– Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, бражники, как расходились!

– А видишь ты, что у лошадей за седлами?

– Вижу: метлы да песьи морды, как у того разбойника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

– Поди, спроси у них, где живет боярин Морозов!

– Эй, добрые люди, господа честные! – закричал Михеич, подъезжая к толпе, – где живет боярин Дружина Андреич Морозов?

– А на что тебе знать, где эта собака живет?

– У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого полку.

– Давай сюда грамоту!

– Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли? Как дать тебе князеву грамоту?

– Давай грамоту, старый сыч, давай ее! Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли известить государя!

– Ах ты мошенник! – вскричал Михеич, забывая осторожность, с которою начал было говорить, – да разве мой господин знает с изменниками!

– А, так ты еще ругаться! Долой его с лошади, ребята, в плети его!

Тут сам Серебряный подскакал к опричникам.

– Назад! – закричал он так грозно, что они невольно остановились.

– Если кто из вас, – продолжал князь, – хоть пальцем тронет этого человека, я тому голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдобровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек лет сорока, в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устах, осененных реденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и неопределенно.

Увидев Серебряного, он прервал свое пение, подошел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.

– Ты, ты! – сказал он, как будто удивляясь, – зачем ты здесь, между ними?

И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Опричники посторонились с видом почтения, но он, не обращая на них внимания, опять стал смотреть в глаза Серебряному.

– Микитка, Микитка! – сказал он, качая головой, – куда ты заехал?

Серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени.

– Разве ты знаешь меня? – спросил он.

Блаженный засмеялся.

– Ты мне брат! – отвечал он, – я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле моего, а то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые! А эти, – продолжал он, указывая на вооруженную толпу, – эти нам не родня! У!

– Вася, – сказал один из опричников, – не хочешь ли чего? Не надо ль тебе денег?

– Нет, нет, нет! – отвечал блаженный, – от тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай Микитке, чего он просит!

– Божий человек, – сказал Серебряный, – я спрашивал, где живет боярин Морозов?

– Дружинка-то? Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подыметя!

– Где он живет? – повторил ласково Серебряный.

– Не скажу! – ответил блаженный, как будто рассердившись, – не скажу, пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело!

И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом.

Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам.

– Что ж, – спросил он, – скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова?

– Ступай все прямо, – отвечал грубо один из них. – Там, как поворачишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона.

По мере того как князь удалялся, опричники, усмирённые появлением юродивого, опять начинали буяннить.

– Эй! – закричал один, – отдай Морозову поклон от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу; больно зажился!

– Да и на себя припаси веревку! – крикнул вдогонку другой.

Но князь не обратил внимания на их ругательства.

«Что хотел сказать мне блаженный? – думал он, потупя голову. – Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?»

Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.

ГЛАВА 5. Встреча

Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно было поверх частокола видеть весь сад Морозова.

Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошеной траве

пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в липах жужжали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за кустов красной смородины большие подсолнечники подымали широкие головы и, казалось, нежились на полуденном солнце.

Боярин Морозов уже с час, как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с девушками.

– Боярыня, – сказала одна из них, – примерь еще вот эти запястья, они повиднее.

– Будет с меня примерять, девушки, – отвечала ласково Елена, – вот уж битый час вы меня наряжаете да укручиваете, будет с меня!

– Вот еще только монисто надень! Как наденешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона в окладе!

– Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!

– Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?

– Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты намедни пела, как вы ягоды собирали!

– И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне веселого! То грустная песня, не праздничная.

– Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька!

– Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Нуте ж, подруженьки, подтягивайте!

Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:

Ах, кабы на цветы да не морозы,

И зимой бы цветы расцветали;

Ах, кабы на меня да не кручина,

Ни о чем бы я не тужила,

Не сидела б я, подпершись,

Не глядела бы я во чисто поле...

...

Я по сеням шла, по новым шла,

Подняла шубку соболиную,

Чтоб моя шубка не прошумела,

Чтоб мои пуговицы не прозвякнули,

Не услышал бы свекор-батюшка,

Не сказал бы своему сыну,

Своему сыну, моему мужу!

Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.

– Ах я глупенькая! – сказала Пашенька, – чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!

– Охота ж тебе и знать их! – подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. – Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:

Пантелей-государь ходит по двору,

Кузмич гуляет по широкому,

Кунья на нем шуба до земли,

Соболья на нем шапка до верху,

Божья на нем милость до веку.

Сужена-то смотрит из-под пологу,

Бояре-то смотрят из города,

Боярыни-то смотрят из терема.

Бояре-то молвят: чей-то такой?

Боярыни молвят: чей-то господин?

А сужена молвит: мой дорогой!

Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

– Вот тебе и песня! – сказала Пашенька. – Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!

– Девушки, душечки! – сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке, – пособи́те поры́дать, помогите поплакать!

– Да что с тобой случилось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?

– Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как народ божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело... и теперь еще сердце надывается... а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите

мне косу по-вашему, по-девичьи!

– Что ты, боярыня, грех какой! Заплести тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!

– Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!

– Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмем!

«Неужели, – подумала Елена, – грешно и вспоминать о прошлом!»

– Так и быть, – сказала она, – не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали!

Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные деланки и начала заплетать широкую русскую косу в девяносто прядей. Много требовалось на то уменья. Надо было плести как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь не приметно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.

Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.

– Готово, Пашенька, – сказала она, радуясь своей работе, – встань-ка да пройдишь передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника? – Все в свою пору, боярыня, – отвечали, смеясь, девушки, – а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!

– Полноте вы, пересмешницы! – отвечала Дуняша. – Мне бы хотя век косы не расплести! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!

Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.

– Нагнись, Пашенька, – сказала боярыня, – я тебе повяжу еще ленту с поднизями... Девушки, да ведь сегодня Иван Купала, сегодня и русалки косы заплетают!

– Не сегодня, боярыня, а в семик и троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.

– Бог с ними, – сказала Пашенька, – мало ли что бывает в Иванов день, не приведи бог увидеть!

– А ты боишься русалок, Пашенька?

– Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить страшно, все равно что в троицын день или на русальную неделю. Девушку защекотят, молодца любовью иссушат!

– Говоришь, а сама не знаешь! – перебила ее другая девушка. – Какие под Москвой русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украине, там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый – бросишь жену и детей, коли холостой – забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

– Девушки, – сказала она, помолчав, – что, в Литве есть русалки?

– Там-то их самая родина; что на Украине, что в Литве – то все одно...

Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот, и белая шапка Серебряного показалась над частоколом.

Увидя мужчину, Елена хотела скрыться; но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснялись в его голову, одна другой противореча. Он видел перед собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?

Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.

Она была замужем!

«Брежу ли я? – подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд, – во сне ли это вижу?»

– Девушки! – упрашивала Елена, – отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, боже мой! Пресвятая богородица! Что мне делать! Что сказать мне!

Серебряный между тем оправился.

– Елена Дмитриевна, – произнес он решительно, – отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?

Елена в отчаянье искала слов и не находила их.

– Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!

– Выслушай меня, Никита Романович! – прошептала Елена.

Князь задрожал.

– Нечего мне слушать, – сказал он, – я все понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!

И он рванул коня назад.

– Никита Романыч! – вскричала Елена, – молю тебя Христом и пречистою его матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!

Она не в силах была продолжать; голос ее замер, колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.

Судорога пробежала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.

Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винилась в невольной измене, говорила, что должна бы скорее наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие.

– Ты не можешь меня любить, князь, – говорила она, – не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей.

Князь слушал, нахмурия брови, но не отвечал ничего.

– Никита Романыч, – прошептала Елена боязливо, – ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.

Сильная борьба происходила в Серебряном.

– Боярыня, – сказал он наконец, и голос его дрожал, – видно, на то была воля божия... и ты не так виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не кляню тебя, – нет – видит бог, не кляню – видит бог, я... я по-прежнему люблю тебя! Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.

В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания, они бросились друг к другу, и уста их соединились...

Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу? Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж,

чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча!

ГЛАВА 6. Прием

Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, которых личность глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целою головой выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал пронизательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным, но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.

– Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! – сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусяную избу с изразцовою лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. – Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слыхал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят

катал!

И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.

– А помнишь ли, Никитушка, – продолжал он, обняв князя одною рукой за плеча, – помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!

Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.

– Боярин, – сказал он, – вот грамота к тебе от князя Пронского.

– Спасибо, князь. После прочту; время терпит; теперь дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать!

Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.

– Князь, – сказал Морозов, – это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романея, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!

Морозов низко кланялся.

Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок. Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.

– Что с тобой, Елена? – сказал вдруг Морозов, – уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело! Оленушка, – прибавил он шепотом, – уж не опять ли проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал мимо саду! Не

кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитяtko, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь.

– Благодарю, боярин, обедал.

– Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, боярин, закуси чем бог послал, не обидь старика опального! И без того мне горя довольно!

Морозов указал на свои длинные волосы.

– Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.

Морозов вздохнул.

– За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!

При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.

Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.

– Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!

– Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!

– Прогневили мы, видно, бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены,

про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто по-насердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда божия, и крест накриве целовали, и руки в письмах лживили! Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытаются по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч! Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, может, слышал про это?

– Слышал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему удивиться. Царь волен казнить своих злодеев!

– Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольничего Адашева (Алексеева брата) с малолетним сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.

Негодование выразилось на лице Серебряного.

– Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!

– Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце!

– Боярин! – вскричал Серебряный, вскакивая с места, – если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником. Я бы сам наложил руки на него!

– Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же? На государя моего!

– Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?

– Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михаило Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! – сказал Репнин, – не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский!» – и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме божием!

– Боярин! Это бог нас карает!

– Да будет же над нами его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенки. Многие винулись с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно ада, очищали бояр, тех самих предавали смерти. Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убийцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятение. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голоса: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на коня; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим, ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди – все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал за посады.

Воротились мы в дома и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту; пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: «Бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить!»

Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам бог поставил его над нами, и, видно, по божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собрались мы в Думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолившись богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы, и борода, почитай, совсем вылезли. Что с ним случилось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.

– А какой же уговор он прочил себе? – спросил Серебряный.

– А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая; такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в Думу и нас и духовенство. А когда собрались мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной доуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особый обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а все достальное – то земщина. А боярам-де и митрополиту со властями в мой домовый особый обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да все таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все дома и все добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из опричнины, словно животину. Право, Никита Романыч, ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!

– Да зачем же вы согласились на этот уговор? – заметил Серебряный.

– Что ты, князь? Разве царю можно указывать? Разве он не от бога?

– Вестимо, от бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

– А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?

Серебряный задумался.

– Так, – проговорил он, немного помолчав, – нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на все да молчите?

– Я-то, князь, не молчу, – отвечал Морозов с достоинством. – Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. Наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной, – ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов, – этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться; всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя, и нас всех, окаянный! Ну да что про него!

Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.

Между тем слуги накрыли на стол.

Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студеной разного роду, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе малвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:

– Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

– Просвети его бог! Открой ему очи! – отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.

Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.

Морозов выслушал его с большим вниманием.

– Плохо, князь, – сказал он, почесывая крутой лоб свой, – больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя; а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знакомое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь, – продолжал Морозов, – когда хотел ты здравствовать государю?

– Завтра, чем свет, как выйдет его милость из опочивальни.

– Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с лишком сто верст ехать!

– Как? Разве царь не в Кремле?

– Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господа, бросил нас государь, воротился в Александрову слободу, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна ни покрышки!

– Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра чем свет отправлюсь в Слободу.

– Не езди, князь!

– Отчего, боярин?

– Не снести тебе головы, Никита Романыч.

– На то божья воля, боярин; что будет, то будет!

– Послушай, Никита Романыч, ведь ты меня забыл, а я помню тебя еще маленького. Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царствие ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит бог, не завидна! Коли поедешь в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал.

– Что ж, боярин, видно, мне так на роду написано!

– Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у меня в доме как сын родной!

– Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего.

– Никита Романыч, Курбский – изменник. Он ушел ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?

– Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

– Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвященным и уладили б твое дело, а теперь ты попадешь как смола на уголья!

– Жизнь наша в руке божией, боярин. Непригоже стараться продлить ее хитростью боле, чем богу угодно. Спасибо за хлеб-соль, – прибавил Серебряный, вставая, – спасибо за дружбу (при этих словах он невольно смутился), но я

поеду. Прости, Дружина Андреич!

Морозов посмотрел на князя с грустным участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте.

– Да будет же над тобой благословение божие, Никита Романыч! – сказал он, подымаясь со скамьи и обнимая князя, – да умягчит господь сердце царское. Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из печи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, от всего сердца, от всей души!

Пословица говорится: пешего до ворот, конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилося. Он остановил коня. К частоколу подошла Елена.

– Князь, – сказала она шепотом, – я слышала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!

– Елена Дмитриевна! Видно, так угодно господу, чтобы приял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне господь счастья, не мне ты досталась, Елена Дмитриевна! Пусть же надо мной воля божия!

– Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать! Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла?

– Пропадай она! – сказал Серебряный и махнул рукой.

– Пресвятая богородица! Коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть других! Пожалей хоть меня, Никита Романыч! Вспомни, как ты любил меня!

Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску,

что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упрашивал?

Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении, но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нет, – подумал он, – да будет мне стыдно, если я хотя мыслю оскорблю друга отца моего! Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от смерти!»

– Мне нельзя не ехать! – сказал он решительно. – Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена!

Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась оземь.

– Расступись же подо мной, мать сыра-земля! – простонала она, – не жилища я на белом свете! Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!

Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену; но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотреть князя и донести боярину. Серебряный это понял и, чтобы спасти Елену, решил от нее оторваться.

– Елена, прости! – сказал он, – прости, душа, радость дней моих! Уйми свои слезы, бог милостив, авось мы еще увидимся!

Облака задернули месяц; ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачались старые ветви, будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром добрый молодец, пропадет и его любовница!

Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею, в глубине сада, темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевич?

ГЛАВА 7. Александрова слобода

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспреданно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

– Пожалейте, государи, нас, – говорили они на все голоса, – вам господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашею подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

– Отцы наши, батюшки! – пели иные протяжно, сидя у самой дороги, – дай вам господи доброе здоровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник.

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царскою милостыней.

Проходили также слепые гусяры и сказочники, с гусями на плечах и держась один за другого.

Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи – ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбои в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав

разбойников, вешали их без милосердия; зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на верную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в неволю? Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осмидневым заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем

братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимополномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или монастырь, государев отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание.

Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богоматери покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, скрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета.

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

– Это наши качели, боярин, – промолвил один из них, указывая на виселицы, – видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз неводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищи его спешили и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную редьку. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то

женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности; но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.

– Так, так, – сказал он, – ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови.

– Вставай, боярин! – сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленной саблей в руке. Медведь с разрубленной головою лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти.

– Добрый молодец! – сказал ему Серебряный, – назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу помолиться!

– Что тебе до моего прозвища, боярин! – отвечал опричник. – Не люблю я его, бог с ним!

Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

– Ну, батюшка, Никита Романыч, – сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежью кровь с князя, – набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы бросил он тебя да на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с маслеными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали, – прибавил Михеич шепотом, – виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирает кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть также (и это случалось часто), царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заранее, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четырехста, так что всех званых было семьсот человек.

ГЛАВА 8. Пир

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом; государю – высокие резные кресла, украшенные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

– Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

– Это царевич Иоанн Иоаннович, – отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:

– Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствования!

– А этот молодой черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

– Ты видел его, князь, пять лет тому, рындюю при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, – продолжал боярин, понижая голос, – видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебедя, нахмуря брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

– Этот? – спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

– Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

– Да, – сказал Серебряный, вглядываясь в Годунова, – теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

– Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незначительная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! – говорит, – моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» – то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» – сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Винovat, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, – продолжал боярин, глядя на Годунова, – никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, – продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, – то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

– Скажи, боярин, – спросил он, – кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он,

с ума сошел? Смотри, как скатерть поясом порет!

– Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю. Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

– Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевелевым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из

своих рук поднес ему чашу вина.

– Василий-су! – сказал Басманов, – великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

– Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

– Боярин пьян, – сказал Иван Васильевич, – вынести его вон! – Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» – подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой

опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкой, Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные калы, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змеев с разверстыми пастьями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольников, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы,

орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки ромanei, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь проницательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приятельных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственную светлую стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь

бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычей и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

– Афанасий, – сказал он полуласково, полунасмешливо, – долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь

– змея лютая?

– Вяземский не опричник, – заметил царевич. – Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гусярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

– Царевич! – вскричал Вяземский, – если бы тебе было годков пять поболее да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померялись бы с тобой, и сам бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гусях играть!

– Афонька! – сказал строго царь. – Не забывай, перед кем речь ведешь!

– Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, – отвечал дерзко Вяземский, – коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

– Нет, – сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки, – рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлою ночью слепой Филька:

«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. „Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича“. – „Добро, – сказал Алеша, – полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!“ Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем Змиевича и увез его молодую жену. „Исполать тебе, добрый молодец, – сказала жена, – что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!“

– А что, Афоня, – прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, – как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылали очи пожаром.

– Афанасий, – продолжал царь, – я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми, – прибавил он значительно, – возьми с собой, для почету, поболе опричников!

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слышал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников, не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

– Государь! – вскричал Малюта, – дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

– Государь, – продолжал Малюта, – наемни послал я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопами напал на объезжих людей. Многих убили до смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми,

жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

– Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.

ГЛАВА 9. Суд

Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили слугу его!

Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

– На кого ты просишь, – спросил он, – как было дело? Рассказывай по ряду!

– На кого прошу, и сам не ведаю, надежа православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

– Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

– Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, – сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, – не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

– Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

– А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

– Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетью избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

– А много ль вас было в объезде?

– Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!

– А много ль ихних было?

– Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

– И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бело дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричнину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинись, несдобровать тебе, детинушка!

– Надёжа-государь! – отвечал стремянный с твердостью, – видит бог, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюсь я смерти, боюсь кривды, и в том

шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его.

– Государь, – сказал он, вставая, – коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьюми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

– Никита! – сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово, – подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

– Знаю, государь.

– Нападал ты на него с товарищи?

– Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню...

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя.

– Государь, – сказал он, – не слушай боярина. То он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

– Государь, – сказал он, – я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьюми, затем велел бить...

– Довольно! – сказал строго Иван Васильевич. – Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

– Не ведал, государь.

– А когда хотел повесить их, сказались они тебе?

– Сказались, государь.

– Зачем же ты раздумал их вешать?

– Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.

– Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?

Серебряный не нашелся отвечать.

Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

– Не затем, – сказал он, – не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, – продолжал царь с возрастающим гневом, – ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьюми?

– Государь...

– Довольно! – загремел Иоанн. – Допрос окончен. Братия, – продолжал он, обращаясь к своим любимцам, – говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного.

– Говорите ж, люди, – повторял он, возвышая голос, – что заслужил себе Никита?

– Смерть! – отвечал царевич.

– Смерть! – повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

– Так; пусть же примет он смерть! – сказал Иоанн хладнокровно. – Писано бо: приемшие нож ножом погибнут. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

– Братия! – сказал он, – прав ли суд мой?

– Прав, прав! – раздалось между ближними опричниками.

– Прав, прав! – повторили отдаленные.

– Неправ! – сказал один голос.

Опричники взволновались.

– Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев? – слышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

– Кто говорит, что неправ суд мой? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение. – Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

– Государь, – произнес Малюта в сильном волнении, – между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не спрашивая разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

– Отец параклисиарх! – сказал он, усмехаясь, – давно ль ты умилился сердцем?

– Государь! – продолжал Малюта, – не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почтительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя.

– Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой, – сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына. – Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

– Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

– Не слушай его, государь, – умолял Малюта, – он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь, как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

– Максим не пил ни вина, ни меду, – заметил злобно царевич. – Я все время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Вторым сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

– Да, – прибавил он, усмехаясь, – Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

– Батюшка, государь Иван Васильевич! – проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, – сего утра я, дурак глупый, деревенщина необтесанный, просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаянье написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

– Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! – сказал он, – Максим прав!

– Что ты, государь? – вскричал Малюта, – как Максим прав? – И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

– Максим прав, – повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид, – я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это вы, окаянные, – продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым, – это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убийства? Нужно было известить моего доброго боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите!

Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

– Не поздно, государь, – сказал Годунов, возвращаясь в палату. – Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху, палач, снем кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

– Борис, – сказал он, – подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Федорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

– Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалуй. Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напередки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

– Какое идет тебе жалованье? – спросил Иоанн.

– Против рядовых людей обычное, государь.

– Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь! – Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостоин одежи богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

– Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

– Постыла, государь.

– Что так? – спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

– Государь, – сказал он, – хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

– Не затем он просится, – подхватил царевич, – а затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

– Вот как! – сказал Иоанн насмешливо. – Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой богатырь! Ну где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники вписать!

– Эх, государь! – поспешил сказать Малюта, – куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

– Подойди сюда, князь! – сказал Иоанн. – Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

– За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать!

– А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался.

– И тогда побил бы, государь, – сказал он простодушно, – не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание.

– Добрый твой ответ, Никита! – сказал он, одобрительно кивнув головой. – Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки добрые псы, охранять от пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на Страшном суде божием по пророческому словеси: се аз и дети, яже дал ми бог! Добрый твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят; называют меня кровопийцею, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедают, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль, – продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб), – яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

– Отвечай, – сказал он грозно, – что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили?

Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

– Потравились маленько с мужиками! – отвечал, он полухитро, полудерзко, – нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

– Что ж, – сказал он, – доволен ты княжескими шелепугами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой пронизывающий взор на земских бояр.

– Вы! – сказал он строго, – не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! – И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку.

– Слушай! – произнес он, глядя на князя, – я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощения моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

– Государь! – сказал Серебряный, – жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

– Целуй же мне на том крест! – сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение спасителя, к которому, перекрестившись,

приложился Серебряный.

– Теперь ступай! – сказал Иоанн, – и молись премилостивой троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины!

– Вы же, – прибавил он, глядя на земских бояр, – вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

– Ступайте все, – сказал он, – каждый к своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим, помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лицеприятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрыгнуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косящатое, смотрят светлые, притуманившись, – притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»

ГЛАВА 10. Отец и сын

Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободой и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу.

– Батюшка, – сказал Максим, – я ждал тебя; мне нужно переговорить с тобою.

– О чем? – спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.

– Я завтра еду, – продолжал Максим, – прости, батюшка!

– Куда? – спросил Малюта и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима.

– Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином сошлась, места довольно!

– Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто он и кто ты?

– Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А все же мне нельзя оставаться.

– Ах ты самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?

– Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля – божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я один противу всех вас? Поневоле уезжать откладывал. А сегодня, – продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его, – сегодня я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем

правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, – тогда забилося к нему сердце мое, как ни к кому еще не бывалось, и вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как день, что не на вашей стороне правда!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Эту песню А. К. Толстой приводит в главе 5 «Князя Серебряного».

2

А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих. Тацит. Летопись. Книга 16 (лат.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/aleksey-tolstoy/knyaz-serebryanyy>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)